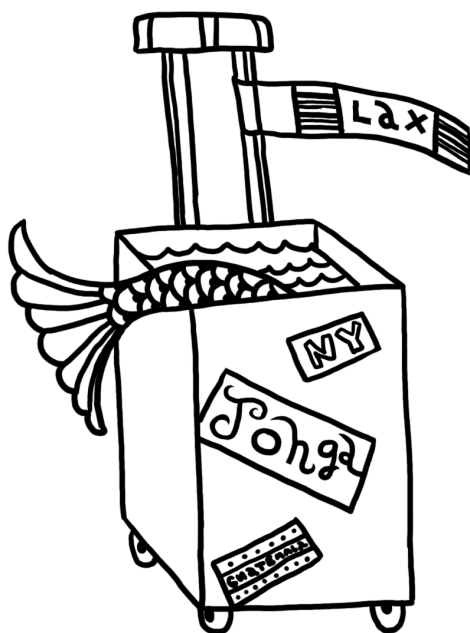


A. A. Gill

A. A. Gill is Away



А. А. Гилл

На все четыре стороны

Перевод Владимира Бабкова

Москва

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

2011

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Г47

Издано с разрешения Andrew Nurnberg Associates International Ltd.

Гилл, А.

Г47 На все четыре стороны / А.А. Гилл ; пер. с англ. Владимира Бабкова. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. — 232 с.

ISBN 978-5-91657-262-9

Обычные путевые заметки глазами необычного человека — вот что такое сборник рассказов А. А. Гилла — британского журналиста и критика. Его острый ум и цепкие глаза умудряются заметить в любой стране то, что давно ускользало от внимания излишне восторженных и загруженных информацией из путеводителей любителей красот и экзотики. Вы увидите совершенно новую Японию и Африку, Америку и Кубу, Индию и Шотландию. И, возможно, даже захотите поехать туда, чтобы удостовериться лично, что все именно так, как описывает местами саркастичный, а местами очень дружелюбный Гилл.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс»

VEGAS LEX

© А. А. Gill, 2002, 2005

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2011

ISBN 978-5-91657-262-9

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Отвлечение

Такая работа	8
--------------------	---

Юг

Не в своей тарелке. <i>Калахари, январь 1998 года</i>	25
Не угодно ли дичи? <i>Танзания, январь 1998 года</i>	34
Надеюсь, вы рассердитесь. <i>Уганда, октябрь 2000 года</i>	42
Возвращение Селассие. <i>Эфиопия, декабрь 2000 года</i>	66

Восток

Один день в яслях. <i>Вифлеем, декабрь 1999 года</i>	81
Прогулка в индусской толпе. <i>Индия, январь 1999 года</i>	96
Безумный остров. <i>Токио, сентябрь 2001 года</i>	107

Запад

Служебный роман. <i>Порнография в США, ноябрь 1999 года</i>	125
Секс в большом городе. <i>Куба, март 1999 года</i>	147
На воле, в пампасах. <i>Аргентина, январь 2001 года</i>	165

Север

Лед и немного пламени. <i>Исландия, март 2000 года</i>	175
Встать, суд идет. <i>Конкурс на титул «Мисс Исландия», 2000 год</i>	187
Помойное ралли. <i>Монако, октябрь 2001 года</i>	198
Возвращение на родину. <i>Шотландия, май 1999 года</i>	209

*Моему отцу Майклу Гиллу,
который однажды принес домой весь мир
и положил его у моей кровати*

Такая работа

Передо мной, за распахнутыми настежь французскими окнами, конец Таиланда соскальзывает в Андаманское море. Край земли утыкан кокосовыми пальмами; чуть подальше длинная элегантная лодка с подвесным мотором везет двух местных жителей по каким-то местным делам. Я ничего не знаю про Андаманское море. По крайней мере, вид у него вполне обыкновенный. Оно голубое, безмятежное и говорит на интернациональном языке морей. Потратив битых полчаса на то, чтобы сочинить предыдущую фразу, я вспомнил совет, который сам же неоднократно давал честолюбивым молодым журналистам (между прочим, это единственный из моих советов, в разумности которого я не сомневаюсь): когда вы садитесь писать, перед вами должна быть глухая стена. Любое зрелище отвлекает. Мир так многообразен и непредсказуем, что он всегда сбивает с толку. Думаю, это и есть главная тема сборника, который вы держите в руках, — сбивающее с толку многообразие мира.

Здесь жарко. Влажно, жарко и солнечно, а ветерка еле хватает на то, чтобы шевелить ветки красного жасмина и водяные лилии. Никола, которая пропутешествовала со мной почти всю книгу, плавает у берега, неторопливо раздвигая руками ленивые волны. На ней ализариновые солнечные очки и переливчатое бикини. Сейчас декабрь. Вчера у нас на родине шел

дождь. Мелкий, противный дождь сеялся целый месяц, а то и два кряду. Я приехал сюда, в Таиланд, чтобы глядеть на Андаманское море, есть маленькие сладкие манго, пить газировку с соком лайма и лежать под влажной, пахнущей мускусом простыней в мерцающей тьме, слушая голубей и лягушек. Мне хотелось сюда поехать, потому что у меня отпуск. У отпусков нет жесткого графика. Будь это работа, я не хотел бы ехать, несмотря ни на какие манго, солнце и переливчатые бикини. Так бывает всегда. Нежелание возникает за неделю до старта, как первые симптомы простуды, и постепенно усиливается. Это что-то вроде актерского мандража. Вы мечтали получить эту роль. Чтобы ее получить, вы готовы были спать с кем угодно. Но теперь, когда вы стоите за кулисами, вас тошнит. Ваша память отказывает. Вы чувствуете себя как беременная рыба, у которой начались схватки.

Журналисты играют на невидимой сцене. На бумажном про-сцениуме. Мы не видим своих зрителей, но знаем, что они есть. Что их миллионы. За одно воскресенье у меня наберется больше читателей, чем у нового буковевского лауреата за целый год. Я не сравниваю качество нашей продукции — я говорю лишь о ее влиянии. Чуть ли не все прочие ипостаси культуры имеют большую ценность, но наша важнее всех. Без поэзии, художественной литературы, драмы, музыки, живописи, танца и оригами мы стали бы неизмеримо беднее, но все же как-нибудь да перебились бы. Однако без новостей, без информации мы сразу ухнули бы обратно в мрачное Средневековье. Без свободной прессы не существует демократии. Пресса абсолютно необходима для свободного рынка. Без нее не было бы ничего глобального — только слухи и догадки, порождаемые неведением. Свобода слова — краеугольный камень, на который опираются все остальные человеческие права и свободы. Все, что я говорю, может показаться нестерпимо высокомерным, если отнести это к ресторанным обзорам и светской хронике. Но не о том речь. Журналистика — не индивидуальное развлечение

наподобие книг и спектаклей, а коллективная деятельность. Пресса производит кумулятивный эффект. Ее давление обширно и постоянно. Вы можете выбирать из нее отдельные фрагменты, посмеиваться или вздыхать над ними и даже швырять их изо всей силы в собаку. Но вместе они — наше самое дорогое достояние.

«Ну-ну, — так и слышу я в ответ, — хорошо вам разглагольствовать о свободе, но загляните-ка лучше в газеты. Они полны лжи, сплетен и глупостей. Теория замечательна, но практика внушает отвращение». Ладно, давайте рассуждать по-другому. Не знаю, чем вы занимаетесь, что вы делаете или продаете, но представьте себе такое. Представьте, что каждое утро вы садитесь перед стопкой чистой бумаги листов этак в тридцать. И вам надо заполнить ее колонками фактов, мнений, основанных на фактах, и предсказаний, опирающихся на факты. Я не знаю, сколько фактов содержится в одной газете. Должно быть, тысячи. Десятки тысяч. Миллионы. От биржевых сводок и телерейтингов до сведений о судах, парламентах, войнах и катастрофах — добавьте к этому опровержения поп-звезд, данные о рождении и смерти, гороскопы и все соответствующие картинки. А теперь скажите, сколько времени вы потратили на составление последнего годового отчета? Дни? Недели? А ведь вся нужная информация была у вас под рукой. Как долго вы писали свое последнее письмо? А ведь вы его просто придумали. По объему газета сравнима с большим романом. Ее наполняют фактами со всего света, выуживая их из сообщений людей, которые лгут, манипулируют, хотят что-нибудь продать, или скрыть, или приукрасить. Несмотря на угрозы, запреты, пули, тюрьмы и неотвеченные телефонные звонки, репортеры делают это каждый божий день, всякий раз начиная с нуля. Удивляет — да что там, буквально ошеломляет — не то, что газеты иногда ошибаются, а то, что они очень часто говорят правду. Ни в вашей, ни в любой другой профессии нет такого высокого процента достоверности, какой

обеспечивает газета. Мало того, если вы живете в Британии, то получаете не одну газету — у вас есть выбор из дюжины общенациональных газет. Маленький мальчик придет и сунет их в ваш почтовый ящик еще до того, как вы встанете с постели. Нет, честное слово — ничто не вызывает у меня такой гордости, как сознание того, что я газетный писака.

Я никогда не планировал стать журналистом. Во-первых, я был к этому совершенно не приспособлен. Вдобавок к жесткой дислексии я страдал хронической англосаксонской замкнутостью, мешавшей мне задавать вопросы и наводить справки; по натуре я из тех чудаков, которые терпеливо выстаивают длиннейшую очередь и спрашивают, что здесь дают, только подойдя к окошку. С ясельных лет я мечтал стать художником. Я ни разу не усомнился в своем призвании — ни в школе, ни в художественных колледжах, где мне, кстати, жилось фантастически хорошо. В конце концов, рисовать дислексия не мешает. Во всем же, что касается академических знаний, я был решительно безнадёжен. Не то чтобы равнодушен — просто не показывал сколько-нибудь приличных результатов. Вспоминается один школьный эпизод. Я интересовался историей и неплохо ее знал, но по отметкам всегда был в хвосте класса. Однажды, распаленный обидой чуть ли не до слез, я потребовал объяснений у нашего учителя — высохшего старого социофоба из тех, что находят приют только в частных школах и в Министерстве иностранных дел. Он брезгливо поднял двумя пальцами мою тетрадку и сказал: «Да нет, с историей у вас все хорошо, вы, наверное, лучший среди своих одноклассников, но я оцениваю ваши работы как на экзамене, а с почерком у вас серьезная проблема». Я посмотрел на него, на свои каракули и подумал: «Ну и хрен с тобой, старый вонючий мизантроп. У меня нет проблемы с почерком. Для меня он абсолютно понятен. При чем тут я — ведь это ты не можешь его прочитать. Значит, это не моя проблема, а твоя».

В реальности я сказал что-то вроде: «Ну ладно, что ж тут поделаешь». Оглядываясь назад, я вижу, какие плодотворные последствия имел этот разговор: тогда я попросту забросил историю, заменив ее дополнительным сексом и наркотиками. Но он научил меня одному, вернее, я сам извлек из него один крайне полезный, поистине драгоценный урок. Моя дислексия — не моя проблема, а чужая. Это можно применить к любой из трудностей, которые мешают человеку жить, — пусть все ваши проблемы станут чужими проблемами.

Я продолжал считать себя художником. Лучшее в искусстве то, что вас изначально считают абсолютно бесполезным существом. Так уж оно принято. Художник — значит, ленивый, капризный, аморальный слабак с грязными ногтями. На практике это сделало горизонты моей юношеской пытливости гораздо более широкими, чем у моих ровесников, в разной степени связавших себя с принципами ответственности и капиталистического трудолюбия, как утки со сливовым соусом. Кроме того, характеристика «художник» зачастую подразумевает отсутствие всяких амбиций. Каждый, кто занимается живописью в Британии, обязан мириться с положением мусора, плывущего по течению культурной жизни.

И это полностью меня устраивало. Латая дырки в бюджете, я торговал всем подряд: мужской одеждой в Кенсингтоне, порнографией на Чаринг-Кросс, товарами для художников в Сохо, пиццей напротив «Гардиана» на Грейс-Инн-роуд, постерами и лаком для волос с обещанием сладкого запаха успеха — на Карнаби-стрит. Кроме того, я скрепя сердце подрабатывал садовником, маляром и декоратором, нянкой, грузчиком на складе джинсов и посудомойкой в гей-клубе. В общем, только и делал, что нанимался на новую работу или увольнялся со старой, — и так добрых семь лет. Это было золотое время — никаких государственных кампаний по трудоустройству молодежи, никаких курсов профобучения и переквалификаций, никаких предупреждений типа «еще одна забастовка, и ты

на улице». Кругом процветала черная экономика, основанная на рабском непрофессиональном труде с оплатой наличными. И снова, оглядываясь назад, я вижу, что это была великолепная школа для будущего журналиста. Чем больше занятий ты перепробовал помимо сочинительства, тем шире и глубже твои возможности как автора. Вдобавок постоянная бедность приучает человека к тому, что его время стоит дешевле, чем у кого бы то ни было. Быть бедным — означает ждать. А в журналистике ожидание и умение ждать играют колоссальную роль. Обычно я говорю о том периоде своей жизни, что оказался ни к чему не пригодным и потому выбился в люди.

Мое высокое искусство живописи атрофировалось до мелких прикладных дисциплин — рисования портретов и иллюстраций с кратким параллельным увлечением натуралистическими фресками. Когда я наконец осознал, что великого художника из меня не выйдет, это привело к большому потрясению, чем можно было предположить. Вскоре я совсем перестал называть себя художником и смирился со статусом безработного. Потом кто-то спросил, не возьму ли я у знакомого художника интервью для арт-журнала. Я ответил, что не могу писать — дислексия. Мне сказали, что это неважно, поскольку читателей у них все равно нет, зато есть младшие редакторы, которые разберутся с правописанием и остальной ерундой.

Так, доказав свою несостоятельность в роли художника, я скатился в арт-критики и продолжал доказывать свою несостоятельность там. Критик из меня получился ужасный. Однако такими были почти все, кто писал в этом маленьком, душном, самодовольном мирке конца восьмидесятых. Искусство спряталось в свои собственные каталоги, и мои собратья по перу были только рады держать его в этой затхлой тьме. В любом случае почти никто не читал критики современного искусства и еще меньше было тех, кто ее понимал. Это излечило меня от желания иметь что-либо общее с искусством,

и с тех пор я с трудом заставляю себя даже зайти в галерею. Но в нескольких отношениях это принесло мне пользу. Я научился много писать. Едва ли это повлияло на качество, но на скорость — определенно, а без скорости в журналистике нельзя. Разница между писателями и журналистами в том, что последние никогда не упираются в творческий тупик. Иначе они тоже стали бы романистами. Кроме того, я оставил позади множество разновидностей откровенно плохой писанины. Цветистую риторику. Фразы длиной в абзац, с многоэтажными придаточными. Натянутые метафоры и аллюзии, единственной целью которых было продемонстрировать свой интеллектуальный блеск. А еще именно на стадии арт-критики я стал подписываться фамилией с инициалами. Честно говоря, не помню, какой была конкретная причина — наверное, просто дурацкий эдвардианский снобизм. Редакторы всегда утверждают, что короткая подпись лучше длинной, бог знает почему.

Сейчас я об этом слегка жалею. А. А. Гилл — за этим маячит какой-то провинциальный умник с волосатыми ушами, изгрызенной трубкой и пакетом домашних бутербродов, с привычкой облизывать грифель, любимым перочинным ножиком в кармане и нездоровой склонностью показывать маленьким мальчикам отвратительных слизняков под слоем палых листьев. Заметьте, что «Адриан Антони» звучит как имя пожилого флоридского дизайнера по интерьеру, который когда-то соорудил из бассейна Рока Хадсона модный бар в полинезийском стиле. Но что делать — подпись ко мне приклеилась, и, к лучшему или к худшему, все мы подгоняем себя под свои имена. Эволюционируя от бессмысленного к смехотворному, я начал писать для «Татлера». Я обожал «Татлер». Я писал обо всем без разбору, и мне выпала редкая удача встретить чудесного редактора, который посоветовал мне писать а) в шутливом тоне и б) от первого лица; причем оба этих совета я поначалу отвергал с высокомерным раздражением — и оба в результате превратили меня из неумелого

любителя в профессионала. Я обрел свой голос в «Татлере» и отправился с ним в «Санди таймс».

Первый большой очерк я написал на отдыхе, в Шотландии. Все в нем держалось на очень жидком уподоблении аэропорта Инвернесс в августе коктейльной вечеринке с твидом и перьями в Фулэме. Я отнес его в редакцию, и художник спросил, нет ли у меня килта. Моя фотография (я смахивал на упаковку песочного печенья) появилась на обложке рубрики «Стиль» в очередном выпуске еженедельника, и меня заметил авторитетный редактор Эндрю Нил — скорее всего, потому что он терпеть не может, когда липовые шотландцы (вроде меня) прикидываются настоящими (вроде него). Мне предложили контракт. Вот на каких причудливых коленцах фортуны — маскараде в духе «Роб Роя» — иногда строятся наши карьеры.

Для завершения сделки зам главного редактора повел меня на ланч в «Савой-гриль». Он предложил мне журналистское кладбище — критику ТВ — и колонку нытика с политическим уклоном, а заодно спросил, что я хочу делать в журналистике. Как бывает всегда, когда приходится отвечать на подобные неопределенные вопросы, я сказал первое, что пришло в голову, — что я хочу брать интервью у разных мест. Естественно, он поинтересовался, что это значит, и я пояснил: хочу общаться с местами — как с людьми, приезжать к ним в гости и выслушивать их, задавать им вопросы, в общем, беседовать с ними, как с политиками или поп-звездами. Интервьюер из меня паршивый, и это видно издали, так что вряд ли мои слова прозвучали особенно убедительно. Я подписал контракт на сумму, превышающую все мои совокупные доходы за последние десять лет, и вернулся домой колумнистом и критиком. Время от времени, обычно перед продлением контракта, редактор спрашивал, что я хочу делать дальше, и я повторял: брать интервью у разных мест. В первый раз я сказал это наобум, но позже стал много размышлять на эту

тему. Однако журналисты прикипают к своим амплуа, и от меня по-прежнему требовали все того же подслащенного сарказма. Внешний мир должен был оставаться уделом более компетентных репортеров со стальным взором, а мне полагалось выуживать материал только из собственной головы. Наконец начальство сжалилось, и редактор «Стиля» сказал: «Шут с тобой, поезжай и возьми интервью у Праги. Завтра же». И я поехал.

От природы и по воспитанию я человек нервный; насчет этой работы я волновался прописным курсивом. Отправившись в аэропорт (на три часа раньше, чем следовало), я вдруг осознал, что никогда еще не путешествовал в одиночку — прискорбный пункт в биографии сорокалетнего! Мне обещали, что из Венгрии в Прагу прилетит фотограф, но он так и не объявился, и я встретил вечер в гостинице, полностью выбитый из колеи невероятно выразительной местной порнографией и мыслью о том, что через два дня статья должна быть готова, а я решительно не представляю себе, с какого конца за нее взяться.

В холле валялся бесплатный англоязычный журнал для туристов и экспатриантов; по наитию я позвонил его редактору, и он помог мне связаться с молодым фотографом, который во время бархатной революции был одним из студентов-телохранителей Вацлава Гавела. Он показал мне город, и мы вместе состряпали статью о юных американцах, которые приезжают сюда писать великий американский роман, воображая, что Прага станет для них духовным прибежищем, каким Париж двадцатых годов был для Фицджеральда, Хемингуэя и Гертруды Стайн. Здесь нашлась даже книжная лавка, владельцы которой робко пытались подражать знаменитому парижскому Shakespeare & Co.

Статейка вышла слабенькая, и вы не найдете ее в этой коллекции. Говоря откровенно, она получилась совсем никудышной. Но из всей этой истории я извлек один важнейший

урок — вернее, вспомнил то, что уже выяснил для себя в другой области. Пауль Клее писал, что искусство рисования — это искусство отсеивания ненужного, и я понял: когда берешь у места интервью, важно не только то, что ты в него включаешь, но и то, что отсеиваешь. Я боялся, что не найду сюжета, а их было целое море. Каждый город — антология рассказов. Они перетекают один в другой. Обрываются и начинаются снова. Каждое место — бесконечный перечень завязок. Я не сделал из Праги хорошей статьи, потому что не смог отсеять несущественное. Я хотел втиснуть в маленький очерк слишком многое. Но я полюбил Прагу, и мне страшно понравилось быть в ней журналистом. Это вовсе не то же самое, что быть туристом; все мои чувства были необычайно обострены, я внимательно смотрел и слушал и до сих пор помню запахи, особые оттенки света, тепло нагретых трамвайных сидений и фальшивые меховые воротники на фальшивых блондинках. Мне очень, очень хотелось повторить свой опыт.

Второй блин вышел уже не таким комкастым. Меня отправили в Милан репортером на показы мод. Редактор хотел, чтобы о них написал неспециалист. Я всегда любил моду. Это безумная индустрия, чей диапазон простирается от самого практичного комбинезона до самого абсурдного бального платья. Это единственная область культуры, в стороне от которой не может остаться ни один обитатель земли. В конце концов, мы все что-нибудь да носим. Но это еще и многомиллиардный бизнес, управляемый невротиками, которым вы побоялись бы доверить даже уход за своей золотой рыбкой, и тут меня ждал очередной ценный урок. У каждой истории есть ключ — образ, раскрывающий все остальное. Читатель может и не замечать его, но для меня это центральная точка, на которую накручивается вся история. Мы с Николой шли по гигантской торговой галерее Виктора Эммануила. Был перерыв между показами, мы искали, где бы перекусить, и вдруг я остановился. Я понял, что мгновение назад увидел что-то важное.

Обернулся — позади была женщина. В невероятно элегантной и дорогой одежде, с безупречно подобранными аксессуарами. Но при этом в инвалидной коляске. Тонкие бесполезные ноги в прекрасных туфельках на высоком каблучке пытались одолеть ступеньку перед входом в бутик Prada. Сквозь стекло мне было видно, как за ней наблюдают продавцы. Они не двинулись с места. Их лица были воплощением скуки. И я понял: это и есть эпизод, вокруг которого вырастет моя история.

Главная особенность этого центрального образа — в том, что я не могу добыть его силой, не могу отправиться за ним на охоту и изловить его. Я вынужден верить, что он придет сам. И он всегда приходит. На Кубе это была пара проституток, которые постепенно освободились от своих омерзительных пьяных спутников-немцев, чтобы в экстазе и забытии танцевать вдвоем. В Германии это был вообще не образ, а запах — особый резковатый душок, который витал во всех уборных во время спаржевого сезона. Сортирная вонь, спрятанная под грубоватой хмельной доброжелательностью. В Судане это был умирающий от голода человек в пустыне, который предложил мне глотнуть воды из крошечной тыквы.

Судан стал для меня прорывом. Редактор из «Санди таймс» попросил меня написать репортаж о голоде — агентство гуманитарной помощи должно было переправить меня туда и раздобыть мне пропуск от революционной армии, которая контролировала юг страны. Война шла в Судане пятнадцать лет, и я чуть не отказался от поездки. Как я уже говорил, я человек нервный, а тут и испугаться было не зазорно. Вместо меня, отца двух маленьких детей, вполне мог поехать кто-нибудь еще.

Однако в конце концов я все-таки очутился в самолете, и причиной тому было уязвленное самолюбие. Другой редактор (их у нас легион) вызвал меня для конфиденциальной беседы и сказал, что отправлять ресторанного критика в голодный

край — это вызывающая бестактность, которая не принесет газете ничего, кроме вреда, а мою карьеру определенно закончит, и по его высокопрофессиональному мнению я должен сидеть дома и заниматься тем, что получается у меня лучше всего. А именно кушать и смотреть телевизор.

Это решило дело. В принципе путешествие было не таким уж опасным, но я совершил очень глупый и рискованный поступок. Обещанный пропуск куда-то затерялся, и на границе мне пришлось срочно выбирать — либо возвращаться в Найроби и готовить вторую попытку, либо ехать в зону военных действий, не имея при себе никаких надежных документов. Я поехал — и понял, что репортерские задания обладают своим собственным внутренним импульсом. Желание ему подчиняться превосходит все остальные мотивы, поэтому журналисты и гибнут. Если воспользоваться раздражающе банальной фразой, очерк о Судане практически написан сам. Я просто сел, начал писать и не останавливался, пока не закончил. Потом я не изменил в нем ни слова. В газете он колоссально выиграл от изумительных снимков Пола Лоу, которые принесли ему премию журнала «Лайф» (я был в ярости, когда один из них отказались помещать на обложку — вместо него туда попала Лайза Миннелли).

У меня бзик — путешествовать налегке, так что перед выездом я стараюсь не забивать себе голову. Я никогда не выясняю ничего заранее. Я знаю, что так делать не положено. Теория рекомендует собрать побольше стартового материала, переговорить со знатоками, как следует полазить по Всемирной паутине. Что ж, я пробовал следовать этим рекомендациям — я вел себя как прилежный и профессиональный репортер, а в результате прибывал на место с мысленным списком вещей, которые необходимо увидеть, и гигантским грузом предубеждений. Я невольно начинал искать то, о чем мне рассказывали. Конечно, никто не в силах избавиться от того, что ему уже известно. Все мы путешествуем с предрассудками. Я тоже

не могу сделать из себя палимпсест. Но я не хочу добавлять заметки и выводы других людей к своим собственным. Если честно, я очень ценю свои предрассудки — это мнения, основанные на долгом жизненном опыте. Но вот что странно: чем больше я путешествую, тем меньше у меня остается уверенности в чем бы то ни было. Чем больше я вижу, тем меньше знаю. Как правило, я пишу о впечатлениях и хочу, чтобы они были максимально яркими и непосредственными.

Прибыв на место, я готов говорить с кем угодно, как назойливый двухлетний ребенок. Это старое журналистское клише — «по словам моего таксиста» — потому и превратилось в клише, что таксисты всегда в курсе уличной жизни. Я пишу только о том, что лежит на поверхности. Мои коллеги часто увлекаются раскопками, игнорируя то, что находится у них перед глазами, или не доверяя ему. В итоге получается картина, увиденная из норы. Например, в Индии я написал большой очерк о Тадж-Махале. Очень многие туристы и знатоки этой страны советуют предпочесть Таджу какую-нибудь другую, менее известную достопримечательность, поскольку он до того привычен и доступен, что якобы потерял всякую культурную и символическую ценность, став пустым китчем. Все это вранье, потому что Тадж ошеломляюще красив. Он популярен — потому что великолепен. Очень легко поддаться влиянию тех, кто с апломбом высказывает свои грошовые суждения или напечатался раньше вас, но нельзя забывать главную заповедь журналиста, пишущего от первого лица: ваше мнение важнее всех остальных.

Еще одна нестандартная черта моего стиля работы заключается в том, что я не люблю путешествовать подолгу. Первые впечатления — самые дорогие. Существует оптимальное время поездки (и оно зависит от места), но рано или поздно обязательно наступает день, когда я начинаю вымарывать, а не добавлять. Лучше всего мне работается, когда я чувствую себя заблудившимся, растерянным, — тогда

восприятие обостряется, я четче вижу и слышу. На новом месте очень скоро начинаешь пускать корешки: завтракать в одном и том же кафе, кивать знакомым официантам, понимать дорожные знаки и плакаты, переставать удивляться тому, какие странные здесь лампы, или как чудно люди прочищают носы, или как необычно пахнет на улице. Но привычка — это еще не мудрость. Наоборот, она часто ведет к умышленной близорукости — поезжайте в ЮАР и поговорите в Йоханнесбурге с белыми, которые там живут, и вам станет ясно, как мало вы понимаете при всех своих знаниях. Время отнюдь не помогает человеку видеть лучше или глубже, оно не повысит вашей проницательности; тут все зависит только от ваших желаний и приоритетов. Приехав куда-то, я стараюсь не говорить с тамошними иностранными корреспондентами, потому что у нас с ними разные задачи. Они объясняют события, а я обычно веду речь о том, что находится между событиями. Они заняты движением, я — цветом.

Отправляясь за материалом, я не беру с собой ни фотоаппарата, ни блокнота. Я ничего не записываю по дороге, потому что это меня только отвлекает. Вместо того чтобы помогать, заметки начинают диктовать; вы полагаетесь на них, а не на то, что видите и слышите. Однако я собираю разную макулатуру — карты, меню, билетки, газеты (даже если не могу их прочесть), обертки от еды, туристические буклеты, квитанции. Я всегда возвращаюсь с полной сумкой такого хлама. Писать я сажусь не сразу — выжидаю, пока не уляжется пестрая сутолока у меня в голове. На это уходит неделя-другая, а то и месяц. Я верю, что моя память сама отфильтрует нужное. А еще я стараюсь побольше говорить о тех краях, где побывал. Превращаю свои впечатления в истории, описания и анекдоты, повторяю их, смотрю, как люди на них реагируют, и это дает мне как бы арматуру для очерка. Этот период, где все держится на доверии к памяти, самый трудный. Что если я поеду, увижу, вернусь да и позабуду

что-нибудь важное? Мне остается лишь верить, что я ничего не растеряю, что когда я протяну руку за иллюстрацией, она окажется на месте.

Все это возможно, только если писать от первого лица. Это мой голос, моя точка зрения, моя позиция. Ничье мнение не ценнее моего, но точно так же и мое стоит не больше любого другого. Меня часто обвиняют в том, что я говорю сомнительные вещи. Однако я считаю это обвинение комплиментом, причем весьма лестным. Если от моих очерков у кого-то подсакивает давление, отлично — ведь именно с этой целью и пишутся журнальные статьи. Мы, газетчики, многим бросаем вызов. Но хотя по нашей инициативе и закупаются споры, мы никогда не стремимся оставить за собой последнее слово. Да его и быть не может. На свете нет истины в последней инстанции. Чем старше я становлюсь, чем больше вижу, тем меньше у меня твердых убеждений. Мнения, предрассудки, теории и откровения — это всего лишь социальная и интеллектуальная погода, которая сопутствует нашей жизни.

Вид из моего окна сменился на более узнаваемый. Теперь передо мной «Баунти», корабль капитана Блая, а за ним — Сиднейская бухта и паруса знаменитой Оперы, этого Тадж-Махала Южного полушария. Такой привычной, что о ней и упоминать-то не стоит. Но я уверен, что еще никто не говорил вам о летучих мышах. А их здесь тысячи. Они кишат и толкуются над гаванью, как в плохом мультфильме. Огромные, размером с овчарку, — самые крупные летучие мыши в мире. И это настоящая неожиданность.



Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:



Проза:



Детские книги:

